

Александр Серафимович

У обрыва

Серафимович Александр
У обрыва

Александр Серафимович
У обрыва

1

Уже посинело под далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шепот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и свет-

леющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крики ночной птицы, или шорох осыпающегося песка, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось - и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

- "Ермак", никак, идет.

- Где ему!.. Теперича небось на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шепоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра; уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе человек и, скинув ложкой сбегавшую

через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал - нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода по-прежнему поблескивала, но уже черным, вороным блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру.

ру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего - с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво, без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

- Пришло время... Жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремотного шепота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

- ...как трава молодая на провесень из черной земли...

- Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабея: "...да-а-а!"

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума, - думала сама синяя ночь.

Тонкий, щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шепот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, - нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

- По реке далече слышать... Хошь у самого

Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум паровозных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое; третий недвижимо чернел на песке.

2

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

- Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

- Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: "О-о-о-о..."

- Скажи парню, нехай садится с нами, вишь, отощал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

- Эй, паря!.. Хошь, поешь с нами. - Длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

- А?.. а?.. а?.. Куда... Постой!.. Братцы, дер-

житесь!.. - закричал тот, вскакивая, трясясь.

- Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

- Ишь ты... опять попритчилось.

При свете костра поражали исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался

призрак смерти, вздохнул.

- У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

- Два дня не ел.

- Да ты откуда?

- Из города. - И снова усталая и теперь доверчивая улыбка. - Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

- Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, - усмехнулся длинный, - да не стали спрашивать, что человека зря беспокоить.

- Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну схватят, разговор короткий - пуля либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе свой народ... К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городе-то чем был?

- Наборщиком. - И он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

- Все по реке шел, как чуть чего - в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

- Что было - страшно вспомнить... Кро-ви-то, крови!.. Народу сколько легло!

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

- Устал я... устал, замучился, и... и не то что руками или ногами, душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, - точно заслоняя все, стояли призраки разрушения, развалины, и некуда было идти.

- Главное что!.. - вспыхивая, заговорил он. - Трудов, сколько трудов убито. Нашего брата

разве легко поднять да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой-ей-ей, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, - да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот ттраххх!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..

И он отвернулся и опять глядел, не замечая, мимо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

- А-а-а-а... - И он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо.

Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

- Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, покой, все спит, все отдыхает, - и голос старика был глубоко спокоен, - все: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подыметя, опять в рост... Все покой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки, - должно быть, летели на ночлег кулички.

- Да-а, покой... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а наутресь опять каждый за свое, - птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово, начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и

подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

- Дедушка, - болезненно раздался надтреснутый голос, - да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уже не подымутся.

- А ты ешь, паренек, ешь, - говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду. - Да-а... мужичок, хрестьянин вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождичек прошел, и погнало из земли зеленыя, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что: вспахал, посеял, собрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало. И вот откуда ни возьмись туча, черная-пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сровняла, где хлеб был - одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же, думаешь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чугунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что же, думаешь, тем дело кончилось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятья. Опять

пробились зеленыя, опять стал наливатся колос. И сколько ни изводили мужика, - и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, а каждую весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: "А-а-а!.." Наборщик молча стал носить из котелка.

- Ишь звезда покатилаься, - проговорил длинный и рыгнул.

- Так-тоь, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху. И народ, сколь его ни дави, сколь ни тирань, а он, братику, помаленечку распрямляется. Пущай жгут, пущай бьют, ноне город разорят, завтра деревню сожгут, а наместо того приходится громить пять городов, приходится жечь сто деревень - народ распрямляется, как при-топанная трава. Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты

подошел - и нас боишься. А мы смелили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: "Не трожь его, пуцай обойдется". Ан вот теперь и оказалось, дело-то одно делаем. Бона у нас, - старик мотнул головой на баржу, - чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пуцай народ любопытствует, пуцай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: "Хо-хо-хо-о!.."

3

- Да вы чего тут стоите, дядя?

- На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой огляделся кругом. И впервые увидел тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шепот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

- Ночка-то...

Усталость, дикая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

- Теперь хоть и вздремнуть бы, - две ночи глаз не смыкал.

- Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

- Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошено ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись

дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там наверху иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

- Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый грубый, и за рекой нехотя и глухо повторило его.

- А тебе что?.. - лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

- Что за люди?! Мать... - И грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

- Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположенного ищешь...

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь, и грянул выстрел, и, негодуя, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шепота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

- Казаки!.. - шептал наборщик, поднявшись. - Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

- Погодь...

- Ничего...

- Не пужай... не из пужливых... А вот только кого-нибудь зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного, - так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!.. - Длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли небеспокоимые, из степи неся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шепот воды старался по-прежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением, - молчание замершего вдали топота, полное зловецей угрозы, пересиливало дремотно шепчущий покой.

Снова сели.

- Поисть не дадут, стервы!

- Подлый народ!.. Земли у него сколь хошь, хочь обожрись, ну и измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успоко-

иться, и тихий покой и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, с беспокойной чуткостью ждущая чего-то. И, как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло... Через минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный хруст прибрежного песку. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные фигуры всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

- Что за люди?

- А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

- Шашки захотели отведать? Так это возможно... Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

- Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

- Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак, с серым лицом, выпятившимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

- Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка...

- А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб ты не огрызался, погань проклятая.

- Связать недолго, - спокойно заговорил старик, - и угнать можно, самое ваша занятая, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ, - казачки и обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...

- Бреши больше, старый черт, - и в голосе бородатого казака послышалась неуверен-

ность, - погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

- Да ты что, али только родился, мокренький... - усмехнулся длинный, пачпорта обыкновенно у хозяина, ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казак в нерешительности натягивал поводья.

- А этот?

- И этот сторож... водоливом на барже...

- Брешешь, сучий подхвостник... Не видать, что ль, - из городу убег. Ага!.. Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Поглядим, нет ли следов от костра в эту сторону.

Молодой сунул в уголья хворостинку, подержал, пока вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

- Нету, оттуда следы, как раз из города шел.

- А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люцинеров укрывать. Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между прочим, Рябов, обратай-ка этого.

- Веревки-то нету.

- А ты чумбуром [чумбур - длинный ремень к уздечке], чумбуром округ шеи. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

- Ну ты, паскуда, повернись, что ль.

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

- Пошел ты к черту...

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

- Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

- Завязал? Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодой, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку и напряжился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету, потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дедову плечу и крикнул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

- Никак, потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась вокруг поясницы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом в обрыв.

- О-го-го!.. Ссво...о...лочь!.. Ря...бов... ссу...ды...

- Нни...чего... дя...дя...

- По...го...ди, я... тте ша...шшкой!

- Го...жу... Ва...лись...ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпались глина и сохшиеся комья.

- Ого-го-го... Рря...бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря на отчаянное нечеловеческое напряжение, бородач тяжело, грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремяна на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова. Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадью ухнула земля от тяжело свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятья и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая

на конец волочившегося по песку повода и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

- Эй, давай-ка чумбур!.. - хрипел длинный, наступив коленом на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

- Фу-у, дьявол, насилу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают по-вечерять... Возжакайся тут с ними, с иродами.

4

Они сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

- Ну, этот молодой и крякнуть не успел, как дедушка его зараз на песок.

- А этот - здоровый, откормился кабан...

- Ишь, а то за шею... ах ты моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понутив головы.

- В прошлом году стояли тут на перекате, - заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем, - так гроза сделалась, н-но и гроза! Мимо шар си-иний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево саженьях в пятидесяти по берегу, - от дерева лишь пенек остался, ей-богу.

- Простое лето грозное было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего совершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он ле-

жал у него за спиной.

- Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

- Как не жалко - жалко, - усмехнулся длинный, - потому и связали вас.

- Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

- Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

- А ты брещи, да не забрехивайся. Слышь, зараз развязывай!.. Мать вашу...

- За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? - невинно продолжал длинный. - Ты трошки потерпи, зараз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обоих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

- Не пужай, не испужаюсь... Казак - не иголка, все одно дознаются... Лошадей не утопите,

по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему из-за реки.

- Мели, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужи, станишничек... Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности; они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем, только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, каждый с превеликим удовольствием прибудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коню, зараз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздались хлюпающие, переливающиеся, прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей.

А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воюющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

- А-а, жидок на расправу, а людей неповинных, беззащитных убить али искалечить - это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

- Не вой, сволочь!..

Но волчий вой все носился у него за спиной и над рекой и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб никогда не кончилось это молоко, - но глубже опускались ложки.

- Братцы, - заговорил он глухо, - отпусти-те...

- Вишь, паренек, - заговорил спокойно старик, - ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь. - И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал: - Да-а, придет время, так-то и

народ нежданно-негаданно подымет, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

- Служба наша такая, разве мы от себе... У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться...

- Что служба!.. Ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

- А как же! Потому присяга престол-отечеству... - И ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

- Присяга!.. - Голос старика зазвучал желчью. - Присяга!.. Вот она, присяга, - и старик вдохновенно поднял руку, - перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, потому жисть она человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должен присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы, несчаст-

ненькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом, - он широко повел рукой, - ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями да колете пиками, да рубите шашками, да бьете из ружей... Ишь пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, - только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

- Охо-хо! Жисть она человеческая! - проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, и казак, не отрываясь, следил за ней, белевшей. - Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходишь, землю месишь-месишь... По-

том сердце изболится, покуда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

- Звезда покатила, - проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидел темную реку, без счету полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, - все это в прошлом, а настоящее - это темь, и в темноте у костра медно озаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимой, махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насуспенных бровей за реку, где смутно, чудился лес.

- Травка растет, ты ее побереги, прут гонит

из земли, ты его обойди, не сломи... Человек - нешто он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тиранить, да убивать, да в тюрьму сажать. Присяга!! Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал: сила ты, ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

- Братцы! - заговорил он, отдаваясь бессилию. - Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно металась за спиной воюющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и

кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался - вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло живую степь и теперь звучало последним прощанием.

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воющие причитания торопливее и тревожнее неслись оттуда и вдруг смолкли.

У бородача екнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, сел в седло. Наконец вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

- Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял, - засмеялся длинный. - Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал под-

пруги, потом сел и тронул поводья.

- Прощайте, ребята!

- Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

По-прежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

- Ну, теперя хоша и спать.

- Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

- Одначе они тягу дали.

- Помирать никому не хочется.

- Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

- Тебя как звать-то?

- Алексей.

- А по отцу?

- Николаич.

- Ну, вот что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто испугаться перед сном?

- Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой изменчивой линией; отделявшей от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

- А?

- Неужто?.. - коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, неся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога, как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, по-прежнему копался в лодке.

- Эхх!.. - досадливо крикнул длинный, завывая пояс. - Сказывал, не выпускать... Теперь

расхлебывай... Ишь карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

- На ту бы сторону, что ли, переехать, - проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

- Ничего, ребята, ничего, - спокойно проговорил старик, продолжая копать.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки помягчели и пошли влево - в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторону.

- Эхх!.. - все досадно чмокал длинный. - Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгоряченного коня, заговорил:

- Вот что, ребята... Перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес. Энта стерва поехал докладывать командиру сотни... Хотел перестрелять вас отсюда, с обрыва, насилиу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит,

что люцинеров покрываю... Смотрите, к утру взвод пришлют, туго вам придется...

- Ххо-о!.. Часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

- А-а, ну так... То-то, я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

- Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

- Спасибо и вам... - Он придержал немного коня. - Тоже и у нас - не пар, ну, положение такое. А старик у вас - правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, незатеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

1907